

Владимир ПОРУДОМИНСКИЙ

Страсти
по Великому
Карлу *или* Жизнь
Карла
Брюллова

Санкт-Петербург
АЛЕТЕЙЯ
2011

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6-4
П 73

Порудоминский В. И.

П 73 Страсти по великому Карлу. — СПб.: Алетейя, 2011. — 304 с. — (Русское зарубежье. Коллекция поэзии и прозы).

ISBN 978-5-91419-552-3

И был «Последний день Помпеи»
Для русской кисти первый день...

Строками торжественного гимна встретила родина возвратившегося из Италии создателя великой картины.

Эта книга — повествование о художнике Карле Брюллове, человеке, для которого главным в жизни были творчество и свобода, свободное творчество. В непростое время, выпавшее ему на долю (а когда подлинному художнику выпадали на долю простые, «легкие» времена!), Карл Брюллов умел быть свободным там, где каждый шаг подчинялся приказам и повелениям, умел оставаться самим собой, когда для каждого деяния имелся предлагаемый образец.

Рядом с главным героем в книге живут, действуют многочисленные его современники — живописцы, писатели, музыканты, артисты, цари и царедворцы, политики и ученые, люди, которым, как и Карлу Брюллову уготовано было оставить свой след в истории. «Чему, чему свидетели мы были!..» — писал о своем (и вместе о брюлловском веке) Пушкин, о веке, «потрясаемом сильными страстями», веке «сильных кризисов», как отмечали в отзывах о «Последнем дне Помпеи» (а для какого подлинного художника его век — не век сильных страстей!).

Повествование о Карле Брюллове открывает читателю, как время-век, события жизни вместе с чертами личности творца воплощаются в его созданиях.

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6-4

*Фото автора на обложке
работы Д. Захарова*

ISBN 978-5-91419-552-3



9 785914 119552 3

© В. И. Порудоминский, 2011
© Издательство «Алетейя» (СПб.), 2011

ПРОБУЖДЕНИЕ. БРЮЛЛО-БРЮЛЛОВ

Глава первая

Время было неясное — век сменялся. После славных деяний Петра и Екатерины позволительно было мечтать о грядущем благоденствии, но, как говорится, век мой назади, век мой впереди, а на руке нет ничего.

Медный прадед государя Павла Петровича, вознесенный покойной матерью императрицей на скалу, вздыбив коня, протягивал длань над пустырем, под ногами коня зиял обрыв. Павел вспомнил однажды про другую конную статую Петра, изваянную старым мастером Растрелли еще в екатерининские времена и матерью отвергнутую; он держал скульптуру в уме, так и этак прикидывал, куда определить ее навечно. За семнадцать лет к Фальконетову Петру успели привыкнуть, но статуя оказалась дерзновенной и не обретала будничной незаметности: привычка привычкой, а какая-то сила все тянула к монументу — вокруг чугунной ограды с вызолоченными остриями и шишечками постоянно толпился народ.

Стоял памятник на месте церкви преподобного Исаакия Далматского, снесенной по обветшалости и к тому же поврежденной пожаром. Церковь возводили еще при Петре: день рождения царя пришелся на день поминовения преподобного. Но, может быть, Великому Петру по душе пришлись твердость в вере византийского монаха, сила его духа и смелость на язык. По воле Екатерины, выставлявшей себя продолжательницей трудов Петровых, в одно время с монументом, за спиной его, началось возведение нового Исаакиевского собора.

В отличие от велемудрой матушки император Павел был нетерпелив, переменчив и не способен к требующему срока и выдержки возведению памятников. Замыслы матери к тому же рождали в нем единственное и непоборимое желание — перечить. Предусмотренные проектом большой купол Исаакия, четыре угловые башни, многоярусная колокольня со шпилем привели Павла в раздражение. Он приказал своему любимцу, архитектору Винченцо Бренна, флорентинцу, именуемому в России Викентием Францевичем, достроить собор без матушкиных

причуд да поживее. Фантазер Бренна, разделявший с Павлом Петровичем его гатчинское затворничество и ожидание будущего величия, слишком долго строил в воображении рыцарские крепости, чтобы тратить дарование и остаток лет на чуждый храм, коим не мнил обеспечить себе бессмертие. Бренна с головой ушел в сооружение дворца для своего государя — Михайловского замка, окруженного рвами с водой и перекинутыми через них подъемными мостами. Он наскоро поднял над мраморным карнизом собора кирпичные стены, увенчав их одиноким куполом и приземистой колокольной (мрамор, привезенный для отделки Исаакия, взят был в Михайловский замок).

В ту пору многое начатое в мраморе достраивалось кирпичом. Мраморные глыбы, предполагавшиеся к прославлению одного, оказывались в ином месте, но и там обычно не успевали исполнить нового предназначения.

Государь вставал в пять, слушал доклад военного коменданта, в восемь начинался парад. В душевой, как белый атласный галстук, тишине манежа цены человеку не было никакой. Жизни, случайностью рождения начатые два или три десятилетия назад, тут по воле случая достраивались мрамором или кирпичом или оставлялись недостроенными на неминуемое забвение и разрушение. Рассказывали про молодого офицера, который в течение трех минут был разжалован в солдаты, произведен в прежнее звание и награжден орденом св. Анны.

Приказы догоняли один другой — и все должны были тотчас и неукоснительно исполняться. Приказы поражали внезапностью и необъяснимостью: запрещались короткие локоны и высокие воротники, фраки, стеганные шапки, цветы на окнах, танцеванье вальса и употребление некоторых слов. Постоянная невозможность предвидеть приказ и постоянный страх не успеть с исполнением рождали в людях ощущение невнятности и непрочности бытия.

Сидя в низком кресле у камина, Павел Иванович Брюлло размышлял о превратностях судьбы. Камин разожгли по случаю Рождества — не для тепла, а ради праздничности обстановки: уголь стоял дорого. Небольшая горка угля за решеткой, умышленно не раздуваемая, тлела медленно. Павел Иванович вытянул к камину короткие крепкие ноги в белых нитяных чулках, в черных башмаках, с которых были срезаны недавно запрещенные пряжки, и, глядя на чуть тронутый краснотою уголь, любовно выласкивал мысль, сводившуюся к тому, что, хотя человек пребывает в руках судьбы, воля человека только в его собственных руках. Мысль, возможно, не принадлежала лично Павлу Ивановичу, он, возможно, услышал ее от кого-то, где-то

вычитал (кажется, у Шиллера), но мысль была близка и понятна; он привык подтверждать ее примерами из собственной жизни и оттого давно полагал своей.

Минувшим летом 1799 года Павел Брюлло, наставник класса резного на дереве мастерства и академик, был приглашён в совет Императорской Академии художеств, где ему объявили решение — в связи с малой пользой, какая происходит от обучения воспитанников резному мастерству, оный класс уничтожить. Павел Иванович молча выслушал зачитанную секретарем бумагу, с достоинством поклонился и, уверенно ступая, вышел из зала совета. Академическая служба давала ему двести рублей в год, казенную квартиру с дровами (тридцать сажень) и четыре пуда свеч, но растущее семейство и тщательно взвешенные предположения на будущее требовали много больших средств, добываемых никак не службой, а отличным знанием ремесла и неизменным трудолюбием — качествами, которые поддерживали в Павле Ивановиче глубокое к себе уважение. Павел Иванович Брюлло украшал золоченой резьбою мебель, рамы для портретов и картин, брал заказы на изготовление иконостасов, его умение было известно — случалось ему работать и во дворцах высочайших особ. В Академии художеств хранилась как безупречный образец вырезанная им из дерева охотничья сумка; сквозь сетку виднелась в ней разнообразная дичь. Однако созданиям чистого искусства Павел Иванович предпочитал заказные работы, не ведавшие капризов сбыта. Кроме резьбы, он знал также миниатюрную живопись, живопись золотом и серебром по стеклу, гравирование, лепку, ничем не пренебрегал, все поспевал (благо действовал императорский указ, запрещающий ремесленникам неисполнение заказов к сроку), — менее расторопные мастера жаловались начальству, что он «от них хлеб отнимает», но Павел Иванович был твердо убежден, что только воля человека побеждает судьбу.

И вот он, Павел Брюлло, вопреки обстоятельствам встречает Рождество у камина в собственном доме (не в прежней казенной фатерке на задах академии): дом трехэтажный, каменный, с небольшим двором, спланированным под сад, и стоит почтенно — фасадом на Средний проспект. Нет, не случай, ненадежный помощник, доставил Павлу Ивановичу домашний очаг и благополучие, а прилежание, не терпящее праздности, предприимчивость и разумная бережливость: человек имел право гордиться, что в неверное, прихотливое время живет твердыми правилами, не позволяя себе рассчитывать на удачу.

В комнатах сладко пахло ванилью и сахарной пудрой: супруга Мария Ивановна готовила к праздничному столу пирожное. Павел Иванович женился недавно, вторым браком, после короткого вдовства; от покойной жены остался у него на руках малолетний сын Федор, нуждав-

шийся в матери, да и по предположению Павла Ивановича для крепости семьи и наследования дела одного сына было недостаточно. Павел Брюлло взял девушку из хорошей семьи, дочь придворного садовника Карла Шредера; несмотря на молодость, Мария Карловна, именуемая на русский лад Ивановной, оказалась разумна, хозяйственна, после свадьбы в положенный срок родила сына, через год другого.

Сын Карл появился на свет за две недели до Рождества, 12 декабря 1799 года.

Он лежит в колыбели, под тюлевым пологом, пеленка, обшитая кружевом, перехвачена голубой лентой, такой же лентой перевязан повешенный над колыбелью тонкий — три прутка — пучок розог, залог будущей твердости житейских правил. Он лежит в колыбели, запеленутый по рукам и ногам, тихо причмокивает во сне, чаще орет благим матом и вконец уже загонял проворную, невзирая на полноту, чухонку, удачно нанятую в няньки за недорогою плату, — будущий Карл Брюллов, великий, единственный, неповторимый.

Но до «великого» еще три с половиной десятилетия, да и до «Брюллова» немало воды утечет: 12 декабря 1799 года Брюлловых еще не было.

Были пока Брюлло.

Bruleau — Brüllo — Брюлло: написание имени с годами менялось, потому что люди, его носившие, трижды меняли отечество, превращаясь из французов в онемеченных французов, а из таковых в обрусевших немцев.

По семейным преданиям, корень судьбы брюлловской сокрыт в религиозных войнах: отмена Нантского эдикта, предоставлявшего равные права протестантам-гугенотам и католикам, положила начало скитаниям — гугенотское семейство Брюлло то ли изгнано было из Франции, то ли вынуждено покинуть родину. Обосновались в северогерманском городе Люнебурге, весьма славном в ганзейские времена; союз городов, однако, уже прозябал в упадке, Тридцатилетняя война довершила дело, — Люнебург, принявший Брюлло, быстро донашивал лоскутья былого величия. Что привело их в Люнебург? Случайность обстоятельств, или капитальный расчет, или, не исключено, гипсовый завод, который всю пылил и дымил в городе, открывая возможность приложения ремесла?

Нантский эдикт отменен в 1685 году, в 1773-м первый известный россиянам Брюлло — Георг — был приглашен в Петербург для работы на Императорском фарфоровом заводе. Восемьдесят восемь люнебург-

ских лет при тогдашней прикреплённости людей к месту — срок недолгий, но Павел Иванович, внук первоприехавшего в Россию Георга Брюлло, величаво называл «землей предков» не Францию, а Северную Германию, в бумагах же твердо выводил: «российский подданный». В России их, случалось, именовали, устно и на письме, «Брыло» — так, должно быть, удобнее, привычнее для русского языка и уха.

Возможно, самые давние, французские Брюлло — Bruleau и впрямь были воинствующие гугеноты, у российских Брюлло — Брыло гугенотство задержалось мирной строкой в послужных списках: «вероисповедание евангелическо-лютеранское». Поколения семейства Брюлло передавали от старшего к младшему никак не догматы веры.

На фарфоровом заводе Георг Брюлло числился лепщиком. В некоторых документах его называют скульптором. Одно не противоречит другому. Искусство лепщика, определяющего форму предмета, — подчас в точном исполнении чужого замысла, подчас в собственном творчестве. Высокий уровень искусства Георга Брюлло подтверждается самим приглашением его в Петербург: русский фарфор в ту пору уже не тропку нащупывал — шагал крепко и скоро, и не дядьки ему были нужны, а зрелые мастера.

Старый Георг Брюлло был скульптор (и, наверно, не первый в роду). И его сын Иоганн, не зажившийся на свете и окончивший свои дни вскоре после переезда семьи в российскую столицу, однако успевший стать Иваном Георгиевичем, — Иоганн, Иван Георгиевич, тоже, по заводским ведомостям, был лепщик, по другим документам — скульптор. И его внук Павел Иванович — скульптор, резчик, а также мастер разного иного художественного дела. И старший его сын Федор, прижитый с первой женой, дитя, а уже готовится, руководимый твердой волей Павла Ивановича, перенять из рук отца семейное ремесло. И годовалый Александр — ему определено то же будущее. И новорожденный младенец Карл в пеленке, стянутой голубой лентой...

Дети в семье рождались с готовой судьбой.

...Уголь в камине занялся понемногу и быстро прогорал, переливаясь под серым пухом пепла. Павел Иванович поднялся из кресла, помедлил, потирая руки над очагом и тем как бы схватывая хоть немного этого улетающего впустую тепла, и, крепко ступая, направился к столу. На белой накрахмаленной скатерти, между двумя праздничными канделябрами золоченой бронзы по пять свечей в каждом, покоилась на блюде серьезных размеров индейка — ее медная корочка была украшена зелеными резными листочками петрушки, вокруг, по краю блюда, лежали янтарные ломти жаренного в масле картофеля, Мария Ивановна в палевом платье, с шалью из белой индийской кисеи на плечах, в

нарядном чепце ждала супруга за столом. Быстрым глазом художника Павел Иванович тотчас оценил открывшиеся взору красоту и довольство, сжал сильными пальцами розовую ручку жены и поднес к губам, без лишних слов благодаря за рассудительность и миловидность, за порядок в доме, за прельстительность индейки, за сыновей — непременно будущих художников...

Из окон, выходявших во двор, видно было далекое, за Невой, зарево: по государеву приказу, невзирая на холода, в центре города, по проспекту, насаждали аллею. Деревья свозили большие, в три человеческих роста, вырытые со всеми корнями, — император ждать не умел. Ямы рыли широкие, значительной глубины. Вдоль проспекта клали дрова штабелями и жгли, согревая землю. Говорили, что насаждением аллеи заняты десять тысяч рабочих и что каждое дерево станет в триста рублей.

Как в человеке пробуждается художник? Послушностью руки, вдруг обнаружившей способность в точной линии передавать суть запечатляемого предмета? Постановкой глаза, дарующей способность открывать эту суть предмета в его манящей к запечатлению форме? (Художники говорят о «поставленном» глазе, как певцы о поставленном голосе.) Или особенным расположением души, без которого нет ни точности руки, ни зоркости глаза, ни увлекательного ощущения своей возможности открывать и передавать окрест лежащий мир?..

До пяти лет он не ходил: хилым от рождения ногам оказалось не под силу носить быстро тяжелеющее с ростом тело. Врачи называли это английской болезнью или попросту золотухой — лучшим средством против нее считался теплый песок.

...В погожие летние дни его выносят из дому и усаживают в кучу сухого, сыпучего песка, вбирающего скудное тепло медлительного петербургского солнца. На нем серая, немаркая рубашка, не прикрывающая бедер, — больше ничего не надето, ноги его выше колен засыпаны песком. Отец вырезал для него деревянные формочки, брат Федор старательно покрасил их в красный, синий, желтый, зеленый цвет. Карл для порядка лепит четыре пирожных, поочередно натыкает песок в каждую формочку, чтобы больше не прикасаться к ним. Лопатка, совок, ведро и прочие принадлежности детской забавы вместе с формочками брошены в небрежении, — он не умеет занимать себя игрою. Зато он подолгу смотрит на тянущиеся по блекло-голубому небу разорванные облака, угадывая в них очертания знакомых предметов, беспрерывно меняющиеся, на серую шероховатую поверхность стены хозяйственного

сарая, возле которой насыпан его песок, — камень стены кое-где взрезан извилистыми трещинами, зазелененными мохом, на бархатистую, тщательно прополотую, измельченную и разровненную граблями землю цветника, на траву, на цветы, на трехпалый, будто тряпичатый лист смородины, на сметливую синицу, шумно мелькающую в кустах, на плотного сизого голубя, туда-сюда мелко вышагивающего по дорожке и на каждом шагу покалывающего острым клювом воздух.

В неурочное время к нему подходят редко. Жизнь в доме движется строгим ходом часовых шестерен: каждый занят своим делом, и усердие отдельных людей образует в сцеплении общее выверенное движение. Лишь большая лохматая собака, не пристроенная ни к какому основательному занятию, во всякое время является разделить с ним его одиночество. Собака белая, с рыжими подпалинами, вислые уши ее совершенно рыжие, на ощупь матерчатые, как лист смородины.

Солнце неспешно ползет над квадратным двором, припекает сильнее. Он охотно подставляет приветливым лучам лицо, шею, оголенные до плеч руки — тепло неизменно вызывает в нем ощущение благополучия, покоя, беспечности. Он не замечает, как смаривает его дремота. Он сладко спит, опрокинувшись на спину, лицом к солнцу, волосы у него выются крупными кольцами, золотистые, как солнечные лучи, как песок. Собака устроилась рядом, положив на лапы тяжелую голову.

(Пройдут годы, Брюллов будет охотно писать детей — здоровых, ладных, радостных: дети на его полотнах двигаются, ходят, купаются в бассейне или ручье. Он будет писать детей вместе со взрослыми — ему не по сердцу одинокие дети. На портретах, исполненных Брюлловым, нередко оказывается собака — душевный товарищ человека...)

Он просыпается от голосов, от резкости прикосновения. Отец недовольно ощупывает его руку выше локтя своими жесткими, слегка сплюснутыми на концах пальцами и сердито объясняет маменьке, что Карл в отличие от прочих Брюлло не в меру рыхловат и тучен. Павел Иванович вспоминает при этом спартанцев, но Мария Ивановна благоразумно находит в истории немало примеров превращения слабого ребенка в великого мужа и сожалеет о торопливости, с какой спартанцы отказывались от всякого хилого младенца. Карл плачет, испуганный ворчливым неудовольствием отца. Маменька быстро высматривает на клумбе отцветающую лилию, кривым ножом (время садовой работы) срезает цветок, протягивает Карлу. Он смолкает, заглянув в оранжевый колоколец. Шесть распахнутых лепестков — по огненному атласу черные крапины, удлиненные грузики тычинок нежно дрожат на тонких нитях...

Мудрая природа наградила его за неподвижность: он рано, раньше всякого положенного срока, не то что осознал — почувствовал готов-

ность души отзываться волнением на многообразный облик вещного мира, почувствовал быструю меткость глаза, податливую точность руки. Кому ведомо, и в самой временной его неподвижности не выразила ли себя мудрость природы, нами вполне не усвоенная? Конечно, не могло такого случиться, чтобы в семействе, где цеховая обязанность вырастить себе подобного стала естественной потребностью, чтобы в таком семействе дарование ребенка не обнаружило бы себя, не было бы замечено, затерялось, развеялось, но в бурном осязательном постижении мира, отнимающем у ребенка много сил и не оставляющем ему времени для созерцательности, для — осмысленного или нет — познания себя, в обыкновенной, подвижной, исполненной ежеминутных детских хлопот, общений и удивлений мальчишеской жизни врожденный дар Брюллова выказал бы себя, наверно, позже. И ведь вот что удивительно: песок ли помог, или какое другое целебное средство, или опять-таки напомнила о себе мудрость природы, но как только явственно прорезалось в мальчишке Брюллове дарование художника, ноги его непостижимо быстро окрепли, он начал ходить, пошел — и не робко пробуя шаг, но сразу легко и споро, двигался пылко, прыгал и выкидывал разные штуки (по словам матери).

Никто не помнит, когда он начал рисовать, как никто не помнит, что ему были даны предварительные уроки. Он начал рисовать сам по себе. У него в руках оказались мел и грифельная доска — он принялся рисовать мелом на грифельной доске. Ему заинтересованно протянули карандаш и бумагу — он рисовал карандашом на бумаге.

Павел Иванович быстро приметил способности сына (приметил, а не пробудил!) и решительно взялся за его образование. Метода обучения, принятая Павлом Ивановичем (и, должно быть, единственная ему известная), не знала лукавых премудростей — так Павел Иванович разминал красный воск крепкими пальцами, моделируя фигуры для последующей резьбы. Воспоминания сохранили скупое свидетельство об этой обтесанной веками методе, сила и простота которой в том, что она опирается на обыкновеннейшие и необходимейшие человеческие потребности: «Пока малютка Карл не нарисует установленное число человечков и лошадок, ему не давали завтракать». (А малютка Карл любил поесть, любил на завтрак булочки сдобные, с изюмом, с ванилью, с корицей, обсыпанные сахарной пудрой, на худой конец — простые ситники с медом, от которых мука остается на пальцах и шершавит ногти.) Или еще проще, но с такой же верой в простоту устройства человеческого естества: «В детском возрасте за какой-то проступок Брюллов получил от отца такую пощечину, что оглох и до самой смерти почти ничего не слышал левым ухом». (На закате жизни Брюллов вспоминал, что в детстве отец не поцеловал его ни разу... Правда, глухота в левом ухе, возможно, сделала красивее посадку его головы.)

Легче всего было возненавидеть лошадок и человечков, как дети, обучаемые игре на фортепьяно, ненавидят гаммы, усматривая в них помеху настоящей музыке и через эту ненависть помаленьку проникаясь неприязнью ко всей фортепьянной игре. Но то и замечательно, что Карл, в котором жила от рождения настоящая музыка, не раздражался однообразием «гамм», не изнывал, раскидывая по бумажному листу бесконечные заданные фигурки, не озлоблялся, штрих за штрихом перенося на лист каждую малую подробность разложенной перед ним гравюры, — скрупулезные повседневные упражнения не были для него «уроками», которые надо затвердить, и только: они пробуждали в нем вдохновение, оборачивались творчеством. И когда он в десятый, пятнадцатый или сороковой раз выводил все ту же лошадку, он не только со все большей точностью находил линию холки, крупа или бабки приподнятой передней ноги, но каждый раз уточнял и обновлял мысль и чувство, с которыми проводил нужную линию на бумаге.

Отчий дом... Просторная зала, всегда прохладная от экономной топки печей, но также от сверкающей чистоты, от вымытых до прозрачности воздушных оконных стекол, от белизны печного кафеля, от блеска навощенного паркета. Просторная зала, где каждой вещи, и тяжелому, как монолит, темному шкафу со столовой посудой, и обшитой бирсером подушечке для булавок, раз и навсегда отведено незыблемое место. Просторная зала, где и у каждого члена семейства имеется такое же постоянное место — свой стул за столом, и свой кусочек стола, и даже как бы свой участок пола и свои маршруты по комнате (почти немислимо представить себе брата Федора в отцовском кресле, а маму не во главе стола), и где каждый член семейства обозначен таким же незыблемым постоянством занятий: отец размышляет у черного нетопленного камина о могуществе воли, читает книгу в кожаном переплете или, перенеся из кабинета-мастерской чистую работу, проворно чертит орнамент на листке прозрачной бумаги; мать вышивает или, хлопая взбивалкой, готовится сливки к вечернему чаю; маленькие сестрицы, Мария и Юлия, растирают в мелкой ступке сахар, раскладывают по указке матери яблоки и ягоды в фарфоровые миски; брат Федор кладет на рисунок штриховку; брат Александр рисует; Карл рисует... (Карл отодвигает в сторону «урок», на чистом листе бумаги быстро набрасывает комнату, стул, семейство, с размеренностью часовых колесиков погруженное в работу — каждый на своем месте и за своим занятием; под рисунком он пишет: «Вот так скука!»)

Но отчий дом — это и кабинет-мастерская, запахи дерева, клея, лака; это шпатели, шпатели, карандаши, резцы, долота, кисти — первые предметы, вместо игрушек попавшие в руки ребенка; это произведения

искусства и художественного ремесла — рисунки, скульптуры, резные изделия, гравюры, — висящие на стенах, украшающие шкафы и комоды, заполняющие кабинет отца; отчий дом — это отец, который день-деньской режет по дереву, готовит доски для гравирования, лепит, пишет на кости и на стекле, рисует, чертит, это и брат Федор, который с малолетства в академии, с малолетства напитан суждениями об искусстве и тоже рисует, чертит, лепит; отчий дом — это воздух художества, и Карл Брюлло с пеленок дышал этим воздухом, насыщая им каждую клеточку тела. Стремление подражать — одно из первых побуждений ребенка: хотел того Карл или нет, он схватывал навыки работы, в нем оттачивалась точность видения, укоренялось ощущение соразмерности мира, главное же — на его глазах совершалось чудо: деревянная чурка, полешко превращалась в создание искусства.

Глава вторая

Решением совета Академии художеств от 2 октября 1809 года принят в число учеников без баллотирования «Карл Павлов Брыло, сын академика».

Еще нет гранитной пристаньки против входа — широких ступеней к воде, тяжелых прямоугольных пьедесталов по обе стороны лестницы, еще не усажены на пьедесталы сфинксы из древних Фив в Египте с непроницаемыми лицами и загадкой в глазах. От зари до зари бороздят реку суда и суденышки: груженные разным товаром финские лайбы с низкой осадкой, изворотливые зеленые ялики, четырехвесельные елботы перевозчиков с задранной носом, с косым парусом на корме; легко и важно движется между ними стройный красавец бриг; крутобокий купеческий корабль бросил якорь под самыми окнами академии — паруса свернуты на реях, черные концы мачт царапают блеклое небо, тонкой струйкой дыма вьется над мачтой высветленный солеными ветрами вымпел. Будто искрошенные льдины в ледоход, плывут, плещутся в мелкой волне светлые куски неба, быстрыми всплесками отражается река в темных окнах академии. «Свободным художествам», — вызолочены слова над входом. Изваянные в белом мраморе Геркулес и Флора, стоя между колоннами портика, встречают входящего, обещают служителю свободных художеств непобедимую силу и вечную молодость.

В имени «академия» не слышит мальчик Карл ни торжественности, ни тайны. Имя привычное, обиходное: отец — академик и служил в академии, брат Федор учится в академии, заходят в гости академические знакомые, приносят академические новости, случает-